

Константин Леонтьев

Польская эмиграция на нижнем Дунае



Константин Николаевич Леонтьев

Польская эмиграция на нижнем Дунае

"Но иные были поляки в Адрианополе, и иные в Тульче. В Адрианополе были львы и тигры эмиграции; здесь были гиены и шакалы ее. Там было барство военное, «хорошие» польские дворяне на турецкой службе, лихие офицеры Садык-паши, в красных фесках с кистями, шпоры, кривые сабли, красивые лица, красные мундиры, манеры хорошие, положение в обществе видное. Здесь на Дунае – жалкий пролетариат эмиграции, разночинцы какие-то, голодная шляхта, старые сюртуки без пуговиц, оборванные тулупы, худые сапоги, худые лица, неприличный вид. К моему приезду, впрочем, и этого рода поляков осталось в городе немного..."

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0012
III.....	.0026
IV.....	.0035
V.....	.0052

**Константин Николаевич
Леонтьев
Польская эмиграция на
нижнем Дунае**

В отошедшей от нас, по трактату 1856 года, прибрежной части Бессарабии, в городе Измаиле, было довольно скоро после крымской войны учреждено русское консульство. Оно названо только было не консульством, но «агентством» министерства иностранных дел. В Тульче вице-консульство учредили несколько позднее.

Измаил, еще при Суворове столь обильно политый и турецкою, и русскою кровью, и теперь, как и следовало ожидать, снова возвращенный России, – нам невозможно было оставить без внимания. Этот унылый город не менее Тульчи поразил меня своею великороссийскою физиономиею. У пристани австрийского речного парохода (на котором я из Тульчи приехал нарочно, чтобы сделать визит моему милому соседу и сослуживцу, Павлу Степановичу Романенко, императорскому агенту в Измаиле), – у этой австрийской пристани на молдавском берегу меня встретили русские извозчики: в кучерских кафтанах и круглых шляпах, на пролетках, с дугами и пристяжка-

ми! На улице, как и в Тульче, попадались мне яркие сарафаны и серые поддевки; собор напомнил мне наш калужский собор и столько других храмов наших, построенных по «казенному» образцу недавней старины, той плохой и безвкусной старины, от которой мы стали постепенно освобождаться только разве с половины царствования государя Николая Павловича. Высокая, круглая, обыкновенная колокольня со шпилем; купол над церковью... Точь-в-точь – Мещовск, Калуга, Юхнов. Бульвар, слишком уже правильный, прямые дорожки, а около этого бульвара – фонари на полосатых деревянных столбах; улицы прямее тульчинских, по плану; невысокие дома, гостиный двор, в лавках кумач на рубашки, которого я давно уже не видал. В соборе служба пополам – на нашем церковном языке и на языке румын, столь карикатурно напоминающем язык Данта и Петрарки! Звон в соборе совсем не такой, как у староверов в Тульче, – этаким прекрасным, величавым, тот самый звон, которому каждый из нас привык внимать с детства с благоговением и вздохом любви даже и тогда, когда ослабела случайно

та вера, которая научила нас любить эти многозначительные звуки...

Я помню один мой приезд в Измаил (не первый). Это было в начале зимы, в сумерки; становилось уже холодно; шел густой снег; но падая, он скоро таял; Дунай еще не замерзал, и пароходы ходили. Мы причалили. Я сел на пролетку парюю и, осыпаемый снегом, ехал медленно по грязи и смотрел с невыразимым чувством, с любовью, которой я объяснения не в силах дать, на темные, почти безлюдные улицы и светящиеся окна этого тихого «казенного» русского города!.. В соборе ударили ко всеобщей...

Через несколько минут я сидел в гостиной у Павла Степаныча... Самовар на столе, печка топится так жарко и приветно... О, родина, родина моя!..

Вообразите – в гостиной по углам, как у нас, две выгнутые полукругом печки и штукатурка даже на стенах полосатая, – желтая полоса и белая!.. Я верить не хотел, что я не у соседа помещика в гостях, а у консула на чужбине!..

После хорошего ужина и доброй, веселой

беседы я лег на прекрасную, свежую постель, на голландское белье, и, накрывшись шелковым хозяйским одеялом, спать не стал и не мог... Отчего? Я в первый раз в этот вечер (я его никогда не забуду) раскрыл «Войну и мир».

Раскрыл – и до утра уже заснуть не мог!

И в Тульче я был как будто дома, а в Измаиле еще больше. В турецкой Тульче я видел Русь мужицкую, свободную какую-то; Русь пьяную, очень пьяную, положим, но независимо бытовую, самое себя без всякой внешней помощи охраняющую. В молдавском Измаиле я видел, и чувствовал, и слышал другую Россию: Россию дворянскую, правильно православную, чиновничью, если хотите. Но я не знаю, которую из них я больше любил!.. Тульчинская, *бытовая* Русь, свободно и с мужицкою небрежностью разбросавшая свои хатки туда и сюда по горе, над рекою, была новее для меня, любопытнее; разлинованная по общегубернскому плану, Россия Измаила была ближе мне, знакомее той... В этой отошедшей тогда (и возвращенной теперь) юго-восточной Бессарабии оставалось много рус-

ских людей под румынской властью; большинство их, вероятно, считало свое политическое положение временным; даже многие из молдаван были того же мнения. Кроме того, под румынскую власть перешло довольно много болгарских колоний в Бессарабии, и румыны поспешили лишить их тех особых прав и местных учреждений, которыми одарила их издавна Россия. Болгарские колонисты подчинились весьма неохотно новым, «конституционным» и насильственно с оружием в руках навязанным им молдаво-валашским порядкам, и в мое время все вздыхали о русских властях.

Понятно, что еще «полосатые» столбы у бульвара румынские чиновники не успели перекрасить по-своему, как уже широкоплечий мой друг, Романенко, под названием агента министерства иностранных дел, разъезжал величаво по улицам Измаила, в очень хорошей коляске на паре лихих коней, и редкий встречный человек не снимал фуражки, шляпы или бараньей шапки своей при встрече с ним.

На Измаил мы имели прямые претензии;

на Тульчу не имели их, и потому в Тульче долго, может быть, не было бы нашего консульского флага, если бы польские эмигранты не вздумали создать в этом городе особого рода революционный очаг.

Помог и Александр Иванович Герцен. Да простит это ему Бог! А я ему все эти неудачные и преступные попытки его прощаю искренно уже за то одно, что он первый сказал печатно: «В России никогда конституции не будет, и средний, умеренный либерализм в ней никогда не пустит корней. Это для России слишком мелко». Последние годы нашей политической жизни доказали, до чего был с этой стороны прозорлив этот человек, во многом другом столь кровно виновный перед нами.

Герцен на помощь польским замыслам послал на Нижний Дунай Василия Кельсиева и нескольких других беглых из России молодых людей. Около этого же времени и министерство иностранных дел подняло в Тульче русский консульский флаг. Мой предместник К-в открыл в Измаиле консульство, и года, кажется, три или четыре действовал там не без

успеха. Его подготовка облегчила много и мне первые шаги мои.

Я видел польскую эмиграцию в Адрианополе, когда служил там секретарем и три раза управлял за консула, и встретил ее опять здесь на Дунае.

Но иные были поляки в Адрианополе, и иные в Тульче.

В Адрианополе были львы и тигры эмиграции; здесь были гиены и шакалы ее. Там было барство военное, «хорошие» польские дворяне на турецкой службе, лихие офицеры Садык-паши, в красных фесках с кистями, шпоры, кривые сабли, красивые лица, красные мундиры, манеры хорошие, положение в обществе видное. Здесь на Дунае – жалкий пролетариат эмиграции, разночинцы какие-то, голодная шляхта, старые сюртуки без пуговиц, оборванные тулупы, худые сапоги, худые лица, неприличный вид. К моему приезду, впрочем, и этого рода поляков осталось в городе немного. Из немногих же лиц бывшей здесь русской эмиграции в то время никого уже в Тульче не было. Василий Кельсиев, главный деятель ее, покался, уехал в Россию,

был прощен Государем и печатал уже тогда свои интересные статьи в «Русском вестнике»; его младший брат – юноша весьма интересный и собою красивый, судя по рассказам и фотографии, – умер от тифа; третий русский эмигрант, бездарный и несчастный Краснопевцев, повесился с тоски за городом, на крыле старовойсковской мельницы, перетянув шею ремнем, который для этой самой цели накануне дал ему, сняв со своей талии, Василий Кельсиев, во всем оригинальный и решительный.

И лучший, так сказать, цвет польской шляхты на Нижнем Дунае тоже рассеялся и исчез после неудачной попытки прорваться через Румынию в наши южные области, чтобы поднять и там восстание на помощь главным действиям «ржонда».

Я хочу рассказать здесь, что знаю об этой интересной экспедиции со слов других. Предание было в то время свежо... Я не берусь быть точным, многих имен по времени не помню; рассказывал мне не один человек, а несколько, один об одном, другой об другом. В петербургском архиве иностранных дел, ко-

нечно, есть подробные и верные сведения об этом событии, и если бы я жил теперь в Петербурге, то мне, вероятно, не отказали бы в просьбе просмотреть консульские донесения с этою целью. Все это отошло уже в «историю», и скрывать нам, русским, нечего в подобного рода случаях. Мы действовали хорошо и правильно. Вот как мне рассказывали обо всем этом. Собралось в Тульче смелой шляхты человек полтора или двести. Собрались они и ночью переехали на румынский берег на французском пароходе «Messageries». Из Галаца они должны были идти, как следует уже вооруженные, к русской границе.

Начальник же этой банды Мильковский почему-то взял билет на русском пароходе «Таврида» и тоже поехал в Галац. На палубе «Тавриды» есть то, что зовется (довольно противно, по-моему) «салон».

В этом «салоне» было пианино. Предводитель шайки сел за это пианино и заиграл с чувством и силою что-то повстанческое: «Еще Польша не сгинела» или другое нечто в том же роде. Все русские пассажиры были пора-

жены этою дерзостью. Командир парохода подошел тогда к нему и напомнил, до какой степени подобная выходка неуместна и невежлива. Мильковский тотчас же извинился, по видимому, очень искренно, и встал из-за пианино.

Конечно, *наши* бодрствовали.

Телеграф начал действовать... Депеши летели одна за другою из Галаца в Букарешт, из Букарешта в Петербург, и опять в Галац...

Поляки между тем шли вооруженною толпою через поля нейтральной, единой и «дружественной» нам Румынии князя Кузы.

Должно быть, последняя депеша из Петербурга в Букарешт была строга...

Румынское правительство выслало отряд войска, чтобы преградить путь искателям приключений и обезоружить их.

Вот тут-то я боюсь быть неточным... Дело до такой степени смешно и позорно для наших недавних сподвижников под Плевною, что я сомневаюсь, верить ли мне или нет собственной памяти, которая, впрочем, очень недурна.

Выслали румыны отряд значительный —

батальон ли или даже целый полк, это все равно, – и батальона правильного войска слишком много для двух сотен инсургентов в открытом поле.

Вынужденные русскими требованиями действовать решительно, румыны преградили путь полякам. Но поляки знали, с кем они имеют дело. Они остановились и смело открыли огонь... Румыны бежали. Повстанцы, говорят, будто бы смеясь, продолжали стрелять им в тыл, довольно многих ранили и продолжали свой путь... Тогда уже, в свою очередь, раздраженный позорною неудачею, князь Куза приказал во что бы то ни стало догнать и обезоружить храбрецов. Послали еще больше войска, иные уверяют – *два полка*, под начальством полковника более распорядительного и смелого. Поляки были наконец окружены и сдались. Что с ними случилось, куда они скрылись, по каким убежищам рассеялась эта толпа несчастных политических мечтателей – не слыхал и не расспрашивал.

Некоторые эпизоды этой истории мне довольно смутно памятни. Все это происходило, если не ошибаюсь, в 1863 году, года за четыре

до моего назначения в Тульчу, а на Нижнем Дунае и в 1867 году нашлось столько разнообразного и нового дела, что мне было некогда тотчас же по приезде изучать прошедшее, прямо с текущими делами не связанное.

В тульчинских бумагах не могло и быть никаких подробностей о том, что происходило по ту сторону Дуная за Измаилом и Галацом. Чтобы знать всю последовательность этих событий, нужно было бы читать бумаги или в Букареште, или, как я сказал, в самом Петербурге...

Но «рассказчиков» у меня было довольно, в том числе некто Николай Осипович Глизян, теперь уже умерший вольнонаемный секретарь моего консульства.

Он был малоросс, сын священника одной из бессарабских болгарских колоний, отошедших к Румынии по парижскому трактату; был умен от природы, наблюдателен и тонок, вырос и воспитался среди молдаван и валахов; знал их привычки и дух и никогда не мог относиться серьезно к их государственным и общественным делам. Когда он говорил о турках, о греках, о наших раскольниках, даже о

болгарах земледельческого класса, видно было по тону его рассказов и рассуждений, что он считается с какою-то силою...

О румынских же «делах», румынском войске, о «конституции», полиции – Глизян говорил не иначе, как со смехом или улыбкою. Он уверял, между прочим, будто молдавское общество до того не привычно было тогда видеть и слышать, как это так его офицеры и солдаты *в самом деле воюют*, стреляют, или даже бывают только под выстрелами неприятеля, что раненым в этой стычке воинам сделали торжественный обед в Измаиле и дамы венчали их венками героизма и славы.

Ранены же они, по уверению Глизяна, все были вообще в тыл.

Правда ли это или вымысел, на правду похожий, предоставляю совести покойного.

Итак, ко времени моего приезда гнездо польской эмиграции в Тульче было почти совершенно разрушено... Оставалось здесь только несколько бедных, оборванных молодых людей без пристанища и без имени; кое-как простыми работами они приобретали себе насущный хлеб. Кроме этих молодых про-

летариев низшего разряда, было в Тульче еще двое пожилых поляков: фамилия одного была Воронич; другой... другого я пока не назову... Воронич был человек, как видно, значительного ума и высшего образования; он был не столько стар, сколько дряхл и разбит; почти не ходил даже и по комнате своей и страдал, кажется, тою болезнью, которая зовется спинною сухоткою... Он служил драгоманом при французском консульстве; и хотя в то время, вероятно, уже и работать ничего почти не мог, но советы его французскими консулами уважались и влияние его на дела, как французские здесь, так и польские, несомненно было большое.

У нас, русских консулов на Востоке, было принято за правило с подобного рода французскими чиновниками или «employes» из поляков не сноситься и даже компанию из осторожности с ними не водить. Французские консулы во многих местах и при разных случаях протестовали против этой сдержанности нашей или против подобного пренебрежения; навязывали нам этих секретарей и драгоманов своих, но наши консулы никогда не

уступали по этому пункту и нередко даже заранее предупреждали своих французских «коллегов», что такого-то Подхайского, например, ездившего на Кавказ бунтовать черкесов, ни с официальным визитом, ни даже по тяжёбному делу не примут... Французы гневались, но тщетно... Наши не уступали. Разумеется, и я вообще держался этого правила; особенно в Адрианополе, где я три раза управлял подолгу, но все-таки сам главою и вполне независимым и твердым на ногах деятелем еще не считал себя. В Тульче я стоял уже на своих ногах и знал, что пользуюсь достаточным доверием выше меня стоящих по службе лиц. Поэтому я позволил себе один раз сделать исключение из этого весьма разумного правила; я воспользовался отсутствием французского консула, г. Лангле, который уезжал тогда в отпуск, и на какой-то праздник (на Пасху или на Новый год – не помню), сделал визит Воронину, на том будто бы основании (совершенно недостаточном), что он теперь управляет консульством вместо г. Лангле. Я сам сочинил себе такого рода дипломатическую фикцию; я игнорирую, что он поляк, – я

теперь вижу в нем только управляющего консульством Франции. Но это, конечно, все было вздором одним, а мною руководило одно любопытство. Не был бы я у него – не беда, и был – тоже не беда; оскорбить в моем лице он русского флага не мог (не заплатив, например, по ненависти визита), потому что он едва двигался и никуда ни ходить, ни ездить и без того не мог; в сношения личные и постоянные он тоже войти со мною не мог по той же самой причине.

Итак, я решился взглянуть на этого неприимимого врага. Я люблю политических врагов России, точно так же как Печорин любил своих личных врагов. «Я люблю врагов (говорит Лермонтов-Печорин), хотя не по-христиански: они меня забавляют, волнуют мне кровь... Быть всегда на страже, ловить каждый взгляд, значение каждого слова, угадывать намерение, разрушать заговоры, притворяться обманутым и вдруг одним толчком опрокинуть все огромное и многотрудное здание их хитрости и замыслов – *вот что я называю жизнью!*»

Лермонтов говорит о личных врагах – я го-

ворю о политических. В делах личных поэзия подобной борьбы, к несчастью, почти всегда (как и «герой того времени» не забыл) противоречит христианским чувствам и правилам – в вопросах государственных и международных в большинстве случаев нет этого раздвоения, и русский деятель может смело позволить себе любить врагов России именно так, как любил их Печорин... Русская сила зиждется на православии; и, защищая Россию со рвением, с любовью к борьбе, защищаешь христианскую православную церковь. А если любить подобную борьбу, то понятно, что противники способные, даровитые, замечательные должны нравиться мыслящему живому и бодрому человеку, они должны занимать его, без них ему скучно. Я нахожу даже, что отъявленные политические враги наши нередко гораздо полезнее нам и во всяком случае безвреднее, чем многие «невинные» и исполненные щедринской «благоглупости» соотчичи наши. Когда я думаю о государственных интересах России и об ее исторической судьбе, я часто припоминаю старое-престарое, умное-преумное, не знаю кому при-

надлежащее восклицание: «Боже! Спаси нас от друзей наших; а с врагами мы как-нибудь справимся сами».

Воронич был, судя по рассказам и по всем признакам, враг закоснелый, непримиримый, кровный, даровитый, давний и влиятельный.

Мне все сдается, что он организовал банду Мильковского. К тому же он в 1867 году был врагом уже побежденным, разочарованным, бессильным. Бессильным не в смысле болезненности своей, а в том смысле, что все замыслы нижнедунайской эмиграции, среди которой он, конечно, играл немаловажную роль, уже к тому времени разбились в прах о нашу бдительность и энергию. Все это я взял в расчет и заехал к нему посмотреть. Он занимал очень маленькую и бедную комнату на дворе французского консульства. Меня провели к нему.

На старом диване, в широком и длинном пальто, сидел, согнувшись, человек пожилой, седой, худой, серовато-бледный; усы у него по-старинному были сбриты. Это был почти труп, но труп крайне выразительный... Дро-

жа, он силился привстать и протянул мне бледную, холодную руку. Серые большие глаза его сверкали... Чем?.. Досадою и гневом, что я, москаль, русский чиновник, проник в его печальное предсмертное убежище, или, напротив того, самолюбивым удовольствием, что вот, – его, заживо погребенного в этом углу, посетил русский консул, – не могу решить; думаю, впрочем, что они, эти глаза, блистали скорее от злобы, чем от тщеславия. Воронич, мне кажется, был слишком умен, чтобы не подозревать, что я приехал только из «праздного», как говорится, любопытства, и слишком крупный человек, чтобы мелочно обрадоваться такому странному, необъяснимому и подозрительному визиту, каков был мой. Я пробыл у него с полчаса: мы оба держали себя просто и разговаривали свободно, как все... он был вежлив, я придавал своему обращению легкий оттенок почтительности во внимание к его сединам и недугу... Говорили мы о болезни его, о тульчинском климате и даже немного, в самых общих и осторожных фразах, о высшей политике, о критском восстании, которое тогда было в самом разгаре.

Мне понравился этот враг, этот человек, еще не умерший духом в полумертвом теле, я пожал ему руку; мы простились, и никогда с тех пор я уже не видал его.

Несчастный человек!.. Кончатъ жизнь в таком мрачном одиночестве, на чужбине, в жалком углу, на французских хлебах! Из-за чего же? Из-за идеи ложной, из-за мечтания гибельного прежде всего для той самой польской нации, которую подобные люди хотят воскресить!..

Я говорил, что ко времени моего приезда в Тульчу в этом городке из польских эмигрантов, более выгодно поставленных в обществе, осталось только двое: мрачный Воронич и другой, которого я задумался сразу назвать, потому что не знаю наверное – жив ли он, или умер. Кажется, умер... Фамилия его была Жуковский.

Он был полнейшим контрастом Вороничу. Воронич был трагедиею тульчинской эмиграции; Жуковский – ее идиллией, эклогою. Оба были стары, но Воронич был болен и разбит вдребезги жизнью, а Жуковский был женат, здоров, плечист и весел. Лицо у него было крупное, старчески-свежее и патриархально-красивое; борода большая, белая, густая. Выражение лица исполнено самой приятной и ласковой хитрости. Он тоже, как и Воронич, официально служил Франции: был агентом французского пароходства «Messageries Imperialles»; но ничуть и нас, русских, не чуждался; был знаком и дружен со многими староверами, в консульстве нашем был принят

запросто и не прочь был при случае даже оказывать русским всякие услуги. Женат он был на пожилой вдове, очень почтенного вида, весьма бодрой, разговорчивой и гостеприимной. Она была, кажется, даже и не полячка, а православная хохлушка, и мне помнится, словно как у нее воспитывался в Одессе сын от первого мужа.

В доме у этих седых, крепких и, видимо, между собою дружных и согласных супругов было чисто, сыто и приветливо... Цветы на окнах, шторы расписные, сквозь которые светило дунайское солнышко на скромную и опрятную мебель...

Бойкая старуха рассказывала о своем недавнем путешествии в Одессу к любимому сыну, с опасностью жизни, ночью, по страшным зимним волнам Черного моря... Как эти волны заливали палубу «Тавриды», как было страшно, и какой молодец капитан Сухомлин. Сам Жуковский говорил с чувством о покойном великом князе Константине Павловиче, при котором он в конце 20-х годов служил офицером, и хотя, по собственному уверению, был из числа наиболее преданных Его Высо-

чувству поляков, но по отбытии великого князя, конечно, увлекся общим движением восстания 1831 года и принужден был потом бежать за границу.

Я не знаю, конечно, что в самом деле думал и что в самом деле чувствовал этот хитрый, спокойный и добродушный старец, но никто из нас, русских, не только не видал от него ненависти или явного вреда, но, напротив того, как я уже сказал, видал и услуги. Конечно, я уверен, что он своим «помогать» не отказывался тоже «при случае»... Но... не будем строги в суждениях наших. Будем строги в политике; будем, пожалуй, жестоки и беспощадны в «государственных» действиях; но в «личных» суждениях наших не будем исключительны. Суровость политических действий есть могущество и сила национальной воли; узкая строгость личных суждений есть слабость ума и бедность жизненной фантазии.

Быть может – нет! Быть даже *не может*, чтобы приятный и лукавый патриарх Жуковский не служил немного «и нашим, и вашим»... Господь с ним! С ним было весело и легко... Такой здоровенный и вечно светлый

поляк, так много видел, так много помнил, к жизни относился, несмотря на седины свои, так просто и бодро... Говорил по-русски так свободно и с этим польским акцентом, который или очень мил, или ненавистен, смотря по человеку: «фран'ьцуз», «на кон'ьцу», вместо «на конце»... И возможно ли ему было и не быть иногда несколько двуличным? Что бы сделали с ним страстные соотчичи его, если бы он совершенно устранился от них? Служил он этим столь глупым, столь платоническим в политике французам, у которых все давно уже стало навыворот: одна разрушительная демократия и национальная антицерковность; во внешней политике, в России и Турции, – потворство аристократической и шляхетской Польше, раздражающей русских, и католическая пропаганда, раздражающая не только греков, но и многих юго-славян...

Французская политика на Востоке, по моему мнению, была в это время просто смешна, несмотря на свою эффективность.

Но как бы то ни было, Жуковский был агентом «Messageries» и, вероятно, даже был очень занят и деятелен в ту ночь, когда фран-

цузы в Тульче тайно снаряжали экспедицию Мильковского!..

Что же делать!.. Нужна квартира теплая, нужно новое платье для почтенной и любимой супруги, нравятся шторы зеленые расписные на окнах, украшенных скромными цветами...

– К концу жизни эти дают хлеб и покой...

Не будем строги, говорю я, в суждениях; будем лучше до жестокости суровы в наших политических действиях...

Я довольно часто видался с Жуковским и с большим удовольствием слушал его рассказы.

О старине, о вел. кн. Константине Павловиче, о том, как польские офицеры целым кавалерийским отрядом провожали его для охраны до границы, когда началось восстание; о дунайских староверах, об их привычках и нравах. Он, видимо, свыкся тут с ними и непритворно их любил...

Я слушал его с большим удовольствием; в этой тульчинской среде русских раскольников, турецких чиновников и греко-болгарских торгашей я чувствовал в Жуковском –

что-то особым образом давно знакомое и даже родственное мне по воспоминаниям юности на родине и в Крыму на войне, что-то военное, помещичье. Старый военный доктор-поляк в Карасу-Базаре или Симферополе говорил со мною с таким же акцентом...

И я – военный доктор, только молодой; мы сослуживцы и хлеб едим где-то вместе... Или молодцеватый пехотный юнкер-поляк в русском мундире, в милом нашем Юхнове, танцует так лихо мазурку с хорошенькою и довольно свободною дочерью нашего «непременного члена»... Летает он ловко и топает громко, и барышня в белой кисее, с каштановыми кудрями, так хорошо и неслышно порхает у него на отлете, и розовые ленты пояса веют за нею... А я, еще ребенок, сижу завитой в буклях и лиловой шелковой блузе, около величавой и красивой матери моей; сижу и люблюсь, и ничего в «политике» еще не понимаю, и до смерти даже люблю, когда сестра моя заиграет будто повстанческую мазурку врага нашего, Хлопицкого... И юнкер, поляк, такой приятный с виду мальчик, подходит к моей матери... Хозяин, городничий, представ-

ляет его, мать зовет его танцевать к нам, в Кудиново. Она зовет его, а он кланяется и отвечает, смутясь, очень глупо:

– Если вам не противно, то мне очень приятно...

И еще гусары Веймарского полка, приятели и собутыльники юности в Крыму, политом нашу кровью...

И мало ли их с этим «акцентом», которых я знал еще тогда, когда и в голову мне не приходило, что они враги нам!..

Все это так... Не нахожу нужным скрывать, что многие поляки продолжали мне нравиться даже и тогда, когда я узнал и убедился, что мне необходимо на жизнь и на смерть бороться с ними; не скрываю этого потому, что зрелый человек, претендующий на развитие вкуса и ума, обязан различать в себе эстетическое чувство от политического... я не скажу – долга, этого мало, а даже – от глубокого, искреннего чувства своего. И я, к счастью моему, различал эти две психические сферы очень ясно и твердо, и давно.

Я очень любил, когда полурусский Жуковский беседовал со мною по-русски, на турец-

ком диване моего кабинета, у окна, перед которым так близко наш общеславянский Дунай... Я улыбался ему, он – мне; я очень охотно пользовался иногда его услугами; но ни на мгновение ока я не мог забыть, что он агент «Messageries», что он на службе у этой столь глупой в политике Франции и что ему нужны какие-нибудь «зразы» или «капустняк» (т.е. щипки), нужны сторы, нужна, наконец, шляпка на седые власы его широколицей и доброй хозяйки.

Должно быть, его уж нет на свете теперь. (Не посылать же мне для этой справки нарочную телеграмму в Тульчу!..) Он и тогда, в 1868 году, был стар, хотя очень крепок; у него и тогда были, по его же уверению, камни в почках...

Я не скажу «мир праху твоему, хитрый и приятный агент», потому что это восклицание, во-первых, совсем не христианское: не праху нужен мир, а душе спасение... а во-вторых, не скажу «мир праху» потому, что этот бессмысленный возглас наскучил до смерти, я думаю, даже и самим тем, которые не могут без него обойтись ни в одном некрологе...

Я скажу лучше так: «Добрая память моя тебе, мой дунайский собеседник!.. Ты был для меня «светлым и веселым лучом» в среде печальных Вороничей и оборванных, раздраженных польских пролетариев, которые пытались мне грубить и которых я сажал за это в турецкую тюрьму!..» Надо рассказать и о них.

IV

Однажды я был дома и чем-то занимался, когда мне доложили, что какой-то молодой человек, по-видимому, очень бедный, желает со мной секретно переговорить.

Грек, писец мой, который мне это докладывал, прибавил, что он никак не поймет, какой национальности этот человек.

– Или русский, или поляк; только, кажется, нездешний, – сказал он.

Не желая тратить понапрасну времени на пустяки, я потребовал, чтобы таинственный незнакомец назвался бы предварительно по имени.

Его отвели в канцелярию, и оттуда он прислал мне в кабинет небольшую записку на очень правильном русском языке:

«Я – бывший студент киевского университета Домбровский. Имею, г. консул, сообщить вам нечто очень важное».

– Посмотрим, что это такое, – сказал я себе, и велел впустить его.

Домбровский, правда, имел вид «бедного» человека. На нем был нагольный, старый и

грязный полушубок, сапоги самые простые и в заплатках; рубашка русская, и навывпуск, и тоже грязная. Про лицо его что сказать – не знаю. Бледное, как будто незначительное, не красивое и не особенно дурное. Бородка русая, маленькая. Таких лиц много. Лет ему казалось с виду не больше двадцати пяти.

Он остановился у дверей как будто бы почитительно, но робости я в нем не заметил. Глаза только «бегали». С ним вместе вошел в кабинет и мой молодой грек Яни Никифоридис, подстрекаемый любопытством.

– Что вам угодно?

– Господин консул! – начал Домбровский торжественно и без всякого «акцента». – Я прежде всего попрошу вас удалить посторонних людей, так как то, что я сообщу вам, для меня очень важно.

Не желая лишать Яни Никифоридиса дарового зрелища и плохо веря «важности» сообщения, я сказал Домбровскому, что Яни – лицо не постороннее, служит при консульстве и т. д.

– И что такое особенно важное вы можете сообщить мне?

– Господин консул! Дело идет о моей жизни и смерти! Дело вместе с тем с некоторой стороны касается и до ваших политических обязанностей! – воскликнул киевский студент еще многозначительнее, и даже гордо взглянул на меня, сверкнув глазами.

Я, признаюсь, подумал в эту минуту: «Не вообразил бы этот сорванец, что я боюсь с ним остаться с глазу на глаз; этого бы я не желал!» И, подумавши это, сказал:

– Яни, выйди вон; если будет нужно, я позову тебя.

Яни был очень недоволен этим распоряжением и, уходя, сказал вполголоса по-гречески:

– Он выпивши, разве вы не замечаете?

Я ответил ему:

– Ничего, иди.

У меня в то время в кабинете был всегда заряженный двухствольный пистолет, и я очень хорошо это помнил.

– Какая же это такая тайна ваша? – спросил я Домбровского, когда мы остались одни.

Опять значительный взгляд и возглас:

– Г. консул! Я сражался в бандах против русского правительства, осужден на смерть

через повешение и теперь желаю возвратиться в Россию. Прошу вас выдать мне паспорт.

– Вы считаетесь теперь турецким подданным, вероятно; как же я могу выдать русский паспорт турецкому подданному? К тому же вы, разумеется, из тех людей, которым запрещен въезд в Россию... У нас во всяком консульстве есть книги, где по алфавиту записаны все имена таких эмигрантов; и ваше имя и фамилия, верно, тоже там. Домбровских между поляками очень много, и я помню, что этою фамилией у нас в книге чуть не целая страница полна... Как же я могу вам дать паспорт? Я и на турецком паспорте вам своей визы не поставлю... Чего же вы от меня хотите?

– Я хочу, г. Леонтьев, чтобы вы исполнили ваш долг!

Он начинал интересоваться меня, и его театральная ко мне строгость мне нравилась. Мне очень было трудно не улыбаться; но я не улыбался, не желая без нужды оскорбить несчастного с виду человека.

– Мой долг, – отвечал я на это, – не давать вам паспорт и даже не входить с вами ни в какие сношения.

– Но это странно! Я должен быть повешен или, по крайней мере, сослан в Сибирь; я согласен на это, а вы мне препятствуете... Это очень странно!..

Другой на моем месте просто бы велел казасу выгнать его, но я торопиться вовсе не хотел и ждал, что будет дальше.

– Послушайте, г. Домбровский, – сказал я ему увещательно, – извините меня, я не верю, чтобы роль ваша в восстании была так значительна, чтобы вас приговорили к смерти. Вешали немногих; Сибирь, быть может, – не знаю. И то едва ли. Во всяком случае, я вашего желания исполнить не могу. У нас есть случаи, я не спорю, если человек, политически скомпрометированный, встретившись с русским консулом за границую, в течение долгого времени обнаруживает искреннее раскаяние и представляет несомненные доказательства тому, что его убеждения изменились к лучшему – тогда еще консул может писать посланнику и в Петербург, и ходатайствовать за него... А вас я вижу в первый раз и ничего даже сказать не могу в вашу пользу моему начальству...

Он как будто смягчился, задумался и, помолчавши, сказал грустно:

– Что же мне делать, – я желаю в Россию... Я здесь не хочу больше жить...

Мне стало как будто жалко его, и я посоветовал ему в таком случае поступить по примеру Василия Кельсиева, который без всякого паспорта, но с искреннею тоскою по России и в надежде на одну царскую милость перешел молдавскую границу, отдался в руки полиции нашей и был прощен. И теперь живет в Петербурге, как все, на свободе.

– Кто же может помешать и вам поступить точно так же? Это ваша воля рискнуть... Больше ничего я не могу вам посоветовать...

Домбровский снова сверкнул очами и, надменно окинув меня взором с головы до ног, произнес настойчиво и резко:

– Г. консул! Не способствуя моему возвращению в Россию, вы нарушаете ваш долг!!

Ну, это уж было слишком!.. Я позвонил. Яни Никифоридис и вооруженный кавас в одно мгновение явились в кабинете. (Я тут только понял, что Яни позвал каваса, и что они оба стояли все время за дверями; потому

что «незнакомец» был поляк и к тому же «выпивши».)

Домбровский, впрочем, не показал при виде моих «охранителей» никакого особого смущения и довольно спокойно и, казалось, равнодушно выслушал мои последние слова:

– Потрудитесь уйти, и если вам угодно просить меня о чем-нибудь, то возвратитесь тогда, когда у вас рассудок будет в лучшем порядке...

Он выслушал эти слова мои и, покачав головою, заметил в заключение:

– Если вы, г. консул, думаете, что у меня когда-нибудь будет больше рассудка, чем теперь, то вы очень ошибаетесь...

И с этим нелестным для себя заключением он ушел. Несколько дней о нем не было слуха, и я думал, что все между нами кончено. Однако пришлось нам видеться еще не раз, и совсем при других условиях.

Шел я как-то в гости поздним и очень темным вечером, по улице отдаленной, широкой и безлюдной. Каваса я с собою не взял, а провожал меня с ручным фонарем случайно чужой слуга, крымский татарин, мальчишка

лет не более двенадцати. Дороги я не знал, а без фонаря ходить ночью по турецким городам и запрещено, и неудобно, а для консула в особенности и крайне неприлично. Это было зимою, и на мне была меховая шубка русского покроя (как дубленка или как поддевка со сборками сзади). Она была покрыта светло-синим, почти голубым сукном, и весь город, я думаю, ее знал, а через нее и меня, потому, разумеется, что ни у кого, кроме меня, такой одежды не было. В холодную погоду, я и днем в ней ходил очень часто, и так как при этом еще я нередко надевал круглую форменную фуражку с кокардою, то не узнать, что я русский консул, было бы даже и трудно.

Вот, я иду в темноте, в этой шубке и фуражке, мальчик впереди светит под ноги; в руке у меня толстая трость с крепким круглым набалдашником... Иду и о чем-то думаю... Все тихо и безмолвно... Вдруг из мрака пустынной улицы как будто дальний голос: «Эй, липован». Ну, что же такое?.. Липован – значит старовер; кто-то и где-то зовет какого-то старовера... Даже мой отрок Осман не оглянулся...

Но немного погодя раздался голос погромче...

– Эй, липован! липован! свинья!... подлец!.. липован!

Осман оглянулся уже с небольшим испугом... Все опять примолкло... Мы шли своею дорогою вперед...

Я уже понял, что это неспроста, и что бранные возгласы эти относятся прямо ко мне... В этих странах воздух наэлектризован политическими страстями, и мало ли кто в городе может меня ненавидеть только за то, что я русский консул, и еще такой, который «русизм» свой любит назло всем выставлять на показ даже и в одежде. Раздражает же меня один вид французского буржуазно-демократического кепи (даже и на нашем реформенном солдате)... Палка моя очень крепка, и верность ее еще недавно, среди белого дня, на торговой улице, была испытана на одном огромном малороссе, который тоже вздумал было меня оскорбить ни с того ни с сего публично! Конечно, это какой-нибудь пьяный ненавистник!.. Не беда!.. Я люблю приключения!.. И нельзя, и не следует русскому консу-

ду быть всегда только сдержанным дипломатом, каким-то тонким и казенно-европейским сверчком в черном фраке... Терпеть этого не могу!.. Да здравствует международное раздражение!.. *Sursum corde*: палка крепка!..

Однако голос приближался... Замечая, вероятно, при свете моего фонаря, что я даже не оглядываюсь, мой оскорбитель попробовал переменить название.

– Немоляка, а немоляка! – закричал он уже очень близко. – Слушай, немоляка... Свинья русская!..

Немоляками зовут на Дунае русских молочан. Татарин мой опять с испугом оглянулся; но я сказал ему вполголоса, но сердито:

– Не озирайся! не смей!..

Невдалеке перед нами ярко светила какая-то стеклянная дверь... Перед этою дверью и улица была освещена... Это был большой кабак... Мы подходили. Вдруг мимо нас, сзади из темноты кинулась к двери этой какая-то тень с громким криком:

– Ты свинья! Ты не русский консул – ты подлец, подлец...

Это был Домбровский. Он вбежал в освещенную дверь.

ценную дверь и захлопнул ее за собою со звоном.

Что мне было делать?.. Оставить так я не хотел. Писать на другой день паше французскую «ноту»...

«Monsieur le gouverneur!

Le fanatisme national et l'outréissance des émigrés polonais, soumis à la juridiction de votre Excellence, dépassent (ну, какие-то там границы)... Ma patience est à bout... Un certain Dombrowsky»...[1]

– Нет, скучно все это; зайду лучше в кабак, – это короче...

Недолго думая, я отворил стеклянную дверь и переступил порог. Домбровский стоял посреди комнаты, и мы вдруг очутились лицом к лицу. Народу в кабаке было много, и шум был порядочный... Но удивление и любопытство внезапно заградило всем уста... Иные встали...

– Г. Домбровский, – сказал я как только мог спокойнее и строже, – я с вами разочтусь за это... Завтра паша все будет знать...

И сказавши это, я вышел...

Домбровский сконфузился и начал оправ-

дываться мне вослед: «Г. консул, я ничего вам не говорил... Я не хотел оскорбить вас...» и т.п.

На следующее утро я пошел к Сулейман-паше и рассказал ему, смеясь, всю эту ночную и неожиданную историю. О первом нашем свидании с Домбровским, в консульстве, я не сказал ничего; я все-таки жалел немного этого «интеллигентного пролетария»; думал, что турки будут подозревать его в каких-нибудь с нами «тайных» сношениях, если узнают, что он недоволен жизнью в Тульче и просится к «нам», чуть не прямо в Сибирь.

Я не хотел без крайности «доносить» об этом и предпочитал приберечь этот ресурс на случай, если бы «l'outrecuidance»[2] Домбровского действительно перешла бы границы моего терпения. Пока все это скорее еще веселило, чем раздражало меня. Я *тогда* очень любил борьбу, даже и с некоторым оттенком опасности и насилия.

Сулейман-паша пришел в негодование. Он тотчас же велел позвать старшего полицейского офицера и сказал ему:

– Разыскать сейчас этого негодяя, «ляха»...

Офицер сделал мне несколько вопросов о «личности» Домбровского и, сообразив что-то, взялся скоро найти его.

Паша пригласил меня подождать и побеседовать, мы ждали недолго... Занавеска на дверях поднялась, и бедный киевский повстанец явился перед нами в своем изорванном тулупе, между двух заптиев.

– Как ты смел оскорбить, *Кюпек-оглу*, вчера ночью, на улице, московского консула! – крикнул на него по-турецки обыкновенно столь вежливый и тонкий Сулейман.

– Паша-эффенди мой, я г. консула не оскорблял ничем, – смело и тоже на турецком языке отвечал обвиняемый...

– Осел! (*эшек!*) — крикнул губернатор еще сердитее. – Неужели я тебе, ослу и пьянице, больше буду верить, чем г. консулу?..

К этому я прибавил по-русски, чтобы турки нас не поняли:

– Как же вам не стыдно, г. Домбровский, отречься от ваших слов и действий? Уж лучше бы было ответить прямо: «Да, я это сделал, потому что я русских чиновников ненавижу»... Политическому эмигранту такое ре-

бьячество нейдет...

Домбровский застыдился и смолчал.

Паша велел отвести его в тюрьму и сказал ему в заключение так:

– Ты будешь в тюрьме и месяц, и два, и больше... Будешь сидеть в этой тюрьме до тех пор, пока сам г. консул простит тебя и пожелает освободить тебя. Иди, негодяй!..

Большого удовлетворения нельзя было и требовать; поставить в зависимость от моей воли даже срок заключения – это было даже слишком много; это было особое внимание, исключительное желание угодить мне, возвысить меня в глазах населения сравнительно с другими консулами; потому что я не слышал и не видал, чтобы Сулейман-паша оказывал такие «жестокосердные» любезности ни австрийцу Висковичу, ни г. Лангле, французскому представителю в Тульче.

Я понял, что «мои обходы вокруг дышла» не забыты, и что тогдашняя рассудительная уступчивость моя начинает приносить прекрасные плоды... Видал я в других местах, как «медлительно спешат» турецкие власти в случаях и более серьезных оскорблений. Если им

не хочется удовлетворить консула, они, эти власти, и высшие, и подчиненные даже, и «человека никак не отыщут». И сожалеют об этом, и ноты французские начнут писать. Ноту за нотой! А здесь все на словах кончилось; и в полчаса всего паша дал мне «une satisfaction eclatante»[3], как выражаются дипломаты в бумагах, касающихся подобного рода дел. Хорошо я сделал, что не перешагнул тогда через ноги Сулейман-паши! Не раз и потом приходилось мне хвалить себя за это умение понимать турок.

Домбровского, впрочем, я продержал в тюрьме не более недели.

Оказалось, что он в Тульче был многим нужен, потому что был очень хороший маляр. Я и не знал, что он этим занимается, и даже удивился, что студент оказался на такое простое дело способным.

Прежде всего пришел ко мне один очень почтенный пожилой молокан в розовой рубашке и начал просить:

– Ваше высокородие, уж простите этого Домбровского. У меня хата недокрашенная стоит...

Я не согласился.

Потом пришел протестантский миссионер на Дунае, одесский уроженец, Феодор Иванович Флокен, и он начал тоже:

– Уж простите Домбровского для меня... У меня тоже стена с переулка не кончена.

Потом опять пришел старик молокан в розовой рубашке. Потом еще кто-то.

Я решился уступить «общественному мнению» и послал сказать паше, что я Домбровского прощаю с тем уговором, чтобы он извинился у меня в канцелярии при всех служащих в консульстве людях и при турецких жандармах.

Домбровский согласился охотно, и двое вооруженных турок привели его в мою канцелярию, и он, при них, при секретаре моем, при драгомане и кавасе, сказал мне так:

– Г. консул, я пришел просить у вас прощения, и прошу вас как человека простить мне, потому что я в самом деле поступил очень глупо...

Тон его был очень искренний; я сказал ему:

– Ну, идите с Богом! Я и не сердился на вас;

ну, а спускать вам я даже и права, вы понимаете, не имею.

Он ушел, и после этого мы никогда уже не видались.

Да, поляки довольно разнообразны, и наблюдать, так сказать, невольно разные оттенки их характеров мне приходилось нередко, живя на Востоке, и я находил это не всегда безопасным, но весьма занимательным.

Вскоре после моего приключения с Домбровским случилась у меня другая история в том же роде с другим молодым эмигрантом. Эта вторая история началась гораздо серьезнее первой, потому что она в самом деле уже сильно раздражила, оскорбила, даже огорчила меня сердечно, а кончилась не только примирением, но даже чуть не подобием какой-то любви (если не с моей, то, по крайней мере, со стороны доброго «повстанца»).

Еще до начала крымской войны, когда я был студентом медицинского факультета в Москве, молодая, красивая и богатая тетка моя Анна Павловна Карабанова, у которой в доме я жил несколько лет подряд и которой многим был обязан, подарила моей матери очень изящную и оригинальную маленькую вешалку для карманных часов. Основание ее круглое, из розового дерева; два витых столбика, очень тонкой работы из слоновой кости, соединены наверху какою-то фигуркою, тоже из розового дерева, и на этой фигурке крючок для часов. Куплена была эта вешалка

у Дарзанса. Когда молодая тетка, с которой я был очень дружен, умерла в 1859 году, мать отдала эту вещицу мне, и она благополучно странствовала со мною по разным странам и при самых разнообразных условиях. Но теперь, после жизни в Тульче, к воспоминанию о матери и о молодой и милой родственнице, всякий раз при взгляде на эту штучку прибавляется невольно и воспоминание об одном рослом, широкоплечем молодом эмигранте, об его светло-русой небольшой бородке, старом коричневом пальто и т.д., и т.д.

Один из костяных столбиков моих расшатался что-то. Я послал вешалку с нашим юношею Яни Никифоридисом к одному австрийскому столяру, чтобы он починил ее. Яни возвратился испуганный, бледный и со слезами на глазах; в руках у него моя фамильная драгоценность, изломанная вдребезги, исковерканная... Я пришел в отчаяние и бешенство.

– Что такое! Как это?.. Где? Кто?

Яни рассказал жалобным голосом:

– Прихожу к столяру; говорю с ним... Вдруг какой-то паликар, в пальто... «Это чья вещь?» – спрашивает... Столяр говорит: «Рус-

ского консула». «А! (говорит тот) русского консула!» Выхватил у меня и... раз – два... Сломал в куски...

– И ты ему ничего?! – воскликнул я...

– Ничего... – отвечал мой робкий критянин, опуская глаза...

Я чуть-чуть было не проклял его, как Галуб Тазита:

Пойди ты прочь...

Ты не критянин, ты старуха!

Ты трус, ты раб, ты армянин.

Будь проклят! Чтоб о робком слуха

Никто ко мне не доводил...

Но предпочел поскорее послать его за драгоманом.

– Идите сейчас к паше и расскажите ему все, как было, – сказал я этому драгоману с величайшим волнением. – Скажите Сулейман-паше, что я начну действовать, наконец, самоуправно... Я заплачу греческим матросам или пьяным староверам, и они за несколько золотых искалечат этого мерзавца!.. Я только что имел глупость выпустить Домбровского!.. Идите скорее!...

Турецкие губернаторы хороши тем, что их как-то всегда почти можно застать дома. Они целый день заняты и целый день принимают; целый день, сидя на кресле или на диване, судят и правят, как царь Соломон или Санхо-Пансо на своем острове.

Сулейман-паша вышел из себя не меньше меня самого. И драгоман едва успел вернуться ко мне, как поляк был уже схвачен и заперт...

Но меня это ничуть не удовлетворило!

Моя милая вещица от Дарзанса, изъездившая со мною столько, и на которую я каждый вечер, ложась спать, в течение стольких лет привык вешать золотые, старинные материнские часы... Эта вещица лежала изломанною на столе... Вещь иногда для сердца нашего дороже человека, потому что она напоминает нам близких наших почти всегда в их лучшие минуты.

Сознаюсь и каюсь, что я очень серьезно обдумывал тогда, что бы мне *сделать* с этим поляком, и гнев мой (конечно, в основаниях своих справедливый) дошел уже до степени спокойного обсуждения всех шансов и средств

жестокого наказания и отщепенца. И в самом деле, подкупить через каких-нибудь посредников-сорванцов, которые моего оскорбителя избили бы и изувечили, было бы в среде дунайского города очень нетрудно. Одни отчаянные греки-кефалониты чего стоят! И русскому, к тому же из православно-политического чувства, они послужить готовы с охотой. Примеры были: в Измаиле одного русского шестеро вооруженных кефалонитов прибежали спасать (бесплатно) от огромной толпы разъяренных жидов и вмиг всю толпу ужаснули и разогнали.

Я все это знал; и, сдерживая свое волнение, ходил по комнате и *рассчитывал*... Я думал только о *приличиях* службы, об удаче и т.п. – о «человеколюбии», не нахожу нужным лгать, в ту минуту я не думал.

Вдруг мне докладывают: «*Мать* этого поляка пришла к вам, – она очень плачет»...

– Как мать? Ведь он беглый из Польши... Разве у него мать здесь?

– Да, здесь... Она живет даже на одном дворе с нами: она служит кухаркою у агента австрийского «Ллойда», у г. Метакса.

– Что делать!.. Позовите... Что она может мне сказать, не знаю...

Вошла эта мать; полная женщина, неопрятно и бедно одетая, в таком же рыжем «шушуне», как вот наша Аксинья (только у нашей шушун был гораздо чище и новее). Вошла и, горько плача и утирая слезы с некрасивого лица своего грязным передником, начала, конечно, умолять меня о прощении...

Мать!..

Я привык это слово чтить...

Досадно!..

– Я вашего сына простить не могу, – сказал я.

Она продолжала горько плакать...

Эта бедная толстая и грязная женщина ничуть мне не нравилась; но я понимал, что именно поэтому-то надо бы пожалеть ее...

– Простите его, он был пьян...

– Это не оправдание, – отвечал я. – И вещи испорченной он мне не возвратит...

На это старая полька возразила мне неожиданно приятною вестью:

– Вы простите ему только дерзость, г. консул, – сказала она, – а вещь он поправит. Он

хороший токарь и костяные столбики эти делает точь-в-точь как прежние.

Я не хотел ей верить, так мне было приятно это слышать.

Но поверить было нужно старухе: я отдал ей сломанную вешалку и сказал:

– Вот вы мать, и плачете, а знаете ли, что у меня тоже есть мать, и она мне эту штучку подарила на память... Я велю выпустить вашего сына из тюрьмы на одни сутки; и если колонки через сутки не будут готовы, то никакой от меня ему больше пощады не ждите.

Кухарка ушла, а на следующее утро возвратилась вместе с сыном, который принес мою драгоценность, прекрасно и точь-в-точь действительно реставрированную, и непременно хотел сам меня видеть и «лично» передо мною покаяться. Я, так и быть, велел ему войти.

Радость при виде «костяных колонок», до неузнаваемости схожих с прежними, смягчила мне сердце.

Этот «пролетарий» был гораздо красивее Домбровского, виднее его, приятнее, и в выражении его лица было в одно и то же время и

больше веселости, и больше энергии, и больше доброты. Он мне понравился.

Извинился он проще Домбровского, без фраз «интеллигентного» стиля, и я отпустил его с миром, сказавши, впрочем, что это мое последнее снисхождение.

Мать почти в ноги упала мне и хотела поцеловать мою руку.

Все это происходило в 1868 году. В 1869-м меня назначили консулом в Янину, а в 1871-м, весной, перевели в Салоники. Я проехал верхом из Эпира через всю плодородную Фессалию и через южную часть приморской Македонии, и в апреле месяце подъезжал к Салоникам, с небольшою свитою и вьюками, по шоссе с северной стороны. Шоссе идет между дачами, небольшими садами и какими-то домиками.

Мы ехали шагом. Турецкие жандармы впереди и за нами. Гляжу налево – у одной ограды все столики и стулья; за оградю домик белый, палисадник, вывеска... по всему прелестная кофейня. У одного из столов стоит белокурый мужчина, высокого роста, по-европейски одетый. Стоит и смотрит внимательно на наш

верховой отряд.

Это был тот тульчинский токарь... Он узнал меня, лицо его вдруг изобразило радость, он начал махать шляпою и кричать по-русски:

– Здравствуйте, здравствуйте, г. Леонтьев...
Здравствуйте!..

И потом кинулся со всех ног бежать по шоссе к городским воротам впереди нас. Я не мог понять, зачем это он бежит и куда; но это скоро объяснилось.

Немного погодя мы увидели всадника на вороной лошади, в круглой бараньей шапке, всадник мчался к нам навстречу, и когда он, вдруг осадивши лошадь, стал передо мною, «как лист перед травой», я узнал, что это был болгарин Нушо, курьер нашего консульства в Салониках. Мы проехали еще немного, все приближаясь к воротам крепостной стены, и увидели, что навстречу нам идет пешком бородатый мужчина, средних лет, с тростью и в форменной фуражке. Это был одесский уроженец г. Дершво, драгоман консульства.

Всех их поднял на ноги мой тульчинский эмигрант. Он прибежал в консульство и кри-

чал с восторгом:

– Едет консул! Наш консул, наш, тульчинский!..

Взял он на себя весь этот труд бескорыстно и ни за каким награждением или пособием никогда ко мне с тех пор не являлся. Мы даже никогда и не встречались с ним после этого....

Фамилию этого молодого поляка я забыл, но красивая вешалка от Дарзанса и теперь мне служит, и все для тех же материнских часов. И вот какая судьба: когда мне случается, при взгляде на эту *тридцать лет тому назад* купленную вещь вспомнить или мою суровую и любимую мать, или молодую, богатую и смазливую тетку (которую я чаще всего люблю представлять себе на балу Дворянского собрания, в белом шелковом платье, с пунцовым бархатным убором на черных волосах)... Когда мне, говорю я, случается вспоминать об этих двух столь близких мне женщинах, я, против воли, всегда вспоминаю и о нем, о тульчинском «токаре», об этом *сыне плачущей, бедной и неопрятной полячки!*..

И вспоминаю я о нем всегда с каким-то добрым чувством.

Примечания

Господин губернатор! Национальный фанатизм и высокомерие польских иммигрантов, в соответствии с юрисдикцией Ваше Превосходительство, превышает ... Мое терпение подходит к концу... некто Домбровский (фр.)

[^^^]

презумпция (фр.)

[^^^]

3

полное удовлетворение (фр.)

[^^^]